

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

# Сестры



Дмитрий Мамин-Сибиряк

**Сестры**

«Public Domain»

## **Мамин-Сибиряк Д. Н.**

Сестры / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain»,

«Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова...»

# Содержание

I	5
II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	21

# Дмитрий Мамин-Сибиряк

## Сестры

### I

Во время моей службы в ...ском земстве меня командировали в Пеньковский завод со специальной целью собрать некоторые материалы по статистике; срок для моей поездки не был определен с точностью, и, смотря по обстоятельствам, я мог растянуть его в несколько недель, особенно если бы пожелал для собирания статистического материала к Пеньковскому заводу присоединить все заводы Кайгородова. Эти заводы – числом десять – занимают собой площадь в шестьсот тысяч десятин и принадлежат своему владельцу на посессионном праве<sup>1</sup>; Кайгородов сам никогда не жил в своих заводах и даже едва ли бывал в них, но это не мешает ему получать с заводов миллион годового дохода и проживать по разным теплым уголкам «заграницы» с царской роскошью, удивляя иностранцев самой безумной благотворительностью и всеми причудами широкой русской природы, так что он стяжал себе громкую известность русского Креза. После Строгановских заводов заводам Кайгородова на Урале принадлежит первое место как по богатству железных и медных руд, так особенно по обилию лесов, в которых другие уральские заводы начинают чувствовать самую вопиющую нужду, и, как выразился автор какого-то проекта по вопросу о снабжении заводов горючим материалом, для них единственная надежда остается в «уловлении газов», точно такое «уловление» может заменить собою ту поистине безумную систему хищнического истребления лесов, какую заводчики практиковали на Урале в течение двух веков. Обеспечение горючими материалами выдвигает заводы Кайгородова на первый план, хотя уже начинали ходить упорные слухи, что лесное хозяйство в этих заводах сильно пошатнулось за последние годы благодаря какой-то кучке немцев, стоявшей во главе управления; эти слухи продолжали упорно держаться, тем более что они были тесно связаны с какими-то другими злоупотреблениями, безгласно совершавшимися на этих заводах. Судьба этих заводов была вопросом жизни и смерти для населения в пятьдесят тысяч, а в мире промышленности выражалась громкой цифрой производительности в два с половиной миллиона пудов чугуна, стали, железа и меди; для земства заводы Кайгородова имели громадную важность, потому что доставляли ежегодно земских сборов до сорока тысяч рублей, что в бюджете ...ского земства составляло очень заметную величину. Цель моей командировки заключалась главным образом в том, чтобы выяснить те новые условия, которые в заводском хозяйстве заменили порядки крепостного права, и затем проследить, как отозвалась в жизни рабочего населения заводов новая пора, наступившая после 19 февраля, какие потребности, нужды и вопросы были выдвинуты ею на первый план и, наконец, какие темные и светлые стороны были созданы реформами последних лет в экономическом положении рабочего люда, в его образе жизни, образовании, потребностях, нравственном и физическом благосостоянии.

Конечно, это была очень широкая программа, хотя она и должна была осуществиться в бесконечных рядах цифр, и чем больше я обдумывал предстоящую работу, тем сильнее приходил к убеждению в необходимости построить все на сравнении крепостного порядка с настоящим, а для этого нужно было на несколько недель похоронить себя в пыли заводских архивов. Специально Пеньковский завод был выбран в тех видах, что хотя он и не был самым большим

---

<sup>1</sup> *Посессионное право* – право иметь на казенных землях фабрики и заводы, а также покупать крестьян для работы на них. Владелец посессионного предприятия не мог продать его, прекратить работу или изменить продукцию; предприятие, без права дробления, передавалось по наследству. В связи с реформой 1861 года посессионные крестьяне были освобождены от личной зависимости, но многие крестьяне, обеспечивавшие себя работой на предприятии только частично, остались после реформы без средств существования.

из заводов Кайгородова, но сумма его годовой производительности доказывала самым красноречивым образом, что именно этот завод служит главным экономическим центром и поэтому с него следовало начать кропотливую работу статистического исследования.

Май месяц стоял в последних числах, следовательно, было самое лучшее время года для поездки в глубь Уральских гор, куда был заброшен Пеньковский завод; от губернского города Прикамска мне предстояло сделать на земских верст двести с лишком по самому плохому из русских трактов – Гороблагодатскому, потому что Уральская горнозаводская железная дорога тогда еще только строилась – это было в конце семидесятых годов. Через три дня пути, перевалив через Уральские горы, я уже подъезжал на земской паре к месту своего назначения, и Пеньковский завод весело выглянул рядами своих крепких, крытых тесом домиков из-за большой кедровой рощи, стоявшей у самого въезда в завод; присутствие сибирского кедра, как известно, есть самый верный признак глубокого севера и мест «не столь отдаленных», с которых начинается настоящая «немшона» Сибирь.

Вид Пеньковского завода был очень красив, хотя завод был расположен не в горах, как я предполагал, судя по карте, а в плоской низменности, образовавшейся между двумя восточными отрогами Среднего Урала; главная масса горного кряжа осталась назади и едва синела волнистой, точно придавленной линией на западе. Небольшая горная речка Пеньковка образовала большой заводский пруд, по берегам которого и сгруппировались в длинные правильные улицы заводские домики, сопровождающая реку далеко по ее течению вниз; прежде всего в глаза бросались две хороших каменных церкви, черневшие издали здания заводской фабрики и еще несколько больших каменных домов, построенных в городском вкусе. Издали Пеньковский завод походил больше на небольшой уездный городок, чем на завод, если бы не громадная дровяная площадь, уставленная бесконечными поленницами, и несколько длинных угольных валов, около которых, как муравьи, копошились группы заводских рабочих. Мой экипаж прокатился по широкой, мощенной доменным шлаком улице, миновал небольшую квадратную площадь, занятую деревянным рынком, и с треском остановился перед небольшим новеньким домиком, на воротах которого издали виднелась полинявшая вывеска с надписью: «Земская станция». Так как мне предстояло пробыть в Пеньковском заводе довольно долго, то я еще дорогой решил, что не буду останавливаться на земской станции, а только узнаю там, где мне найти подходящую квартиру недели на две, на три. На звон колокольчика в воротах показался небольшого роста седой старик, в красной кумачовой рубашке, без шапки; на мой вопрос, где найти квартиру, старик, почесывая затылок, лениво проговорил:

– Не больно у нас в Пеньковке-то фатер припасено, разве к Фатевне толкнешься... У Фатевны хоша есть жилец, а она пускает, кто ежели чужестранный. Фатевна пустит и на фатеру.

– А где живет эта Фатевна? – спрашивал я.

– Да тут от господского дома рукой подать, на самый пруд, у церкви.

Нам оставалось только повернуть и ехать опять к рыночной площади; после нескольких расспросов и бестолковых объяснений мы, наконец, добрались до одноэтажного старого дома, который стоял на небольшом пригорке, у самого пруда. У ворот стояла низенькая толстая старушка и, заслонив от солнца глаза рукой, внимательно смотрела на меня.

– Здесь живет Фатевна? – спрашивал я.

– А тебе на што ее? – отвечала вопросом старушка.

– Да вот мне нужно квартиру...

– Фатеру? Ну так я Фатевна и есть, милости просим, – весело ответила старушка, и, пока я добрался до ее «фатеры», она закидала меня вопросами: откуда? кто такой? по какому делу?

Одета была Фатевна в ситцевый темный сарафан с глазками и ситцевую розовую рубашку, на голове был надет коричневый платок с зелеными разводами; лицо Фатевны, морщинистое и желтое, сильно попорченное оспой, с ястребиным носом и серыми ястребиными глазами, принадлежало к тому типу, который можно встретить в каждом городе, где-нибудь в

«обжорных рядах», где разбитные мещанки торгуют хлебом и квасом с таким азартом, точно они делят наследство или продают золото. Ходила Фатевна быстрым развалистым шагом, скорее плавала, чем ходила, и имела привычку необыкновенно быстро повертываться, так что ее ястребиные глазки видели, кажется, решительно все, что происходило вокруг нее.

– У меня тут живет жилец один, – говорила Фатевна, отворяя передо мной тяжелую, обитую кошмой дверь, – ну, да он так, не велик барин и потеснится немного...

– Как же это так? Это неудобно будет... – протестовал я, – я никого не хочу стеснять...

– Ишь ты: не хочу стеснять... Да здесь город, што ли, для тебя? А по-моему, вдвоем-то даже веселее...

Мои вещи были внесены в большую светлую комнату, выходившую большими окнами прямо на пруд; эта комната, оклеенная дешевенькими обоями, выглядела очень убого и по своей обстановке, и по тому беспорядку, какой в ней царил. Белый некрашенный пол, пожелтевший потолок, неуклюжий старинный диван у одной стены, пред ним раскинутый ломберный стол с остывшим самоваром, крошками белого хлеба и недопитым стаканом чаю, в котором плавали окурки папирос; в углу небольшая железная кровать с засаленной подушкой и какой-то сермягой вместо одеяла, несколько сборных дешевых стульев и длинный белый сосновый стол у окна. На этом столе лежали грудой книги, планы, бумаги, стоял отличный микроскоп, рядом с ним, в оловянной чашке с водой, копошилось и плавало что-то черное: мышь не мышь, таракан не таракан; окурки, рассыпанный табак, пустые гильзы и вата дополняли эту картину.

– Вот все пол собираюсь выкрасить, – трещала Фатевна, успевшая десять раз выйти и войти, пока я осматривал комнату. – Да жилец-то мой не стоит этого: хоша ему крась, хоша не крась, не может он этого чувствовать и все равно табачищем своим запакостит... А тебе самовар, небось, подогреть? – бойко спрашивала Фатевна и, выходя с самоваром за двери, прибавила: – Не раздеретесь, чай... Да вот и сам хозяин со своей службы идет, легок на помине!..

Я посмотрел в окно: улицу пересекал невысокого роста господин, одетый в черную поддевку и шаровары, с сильно порыжевшей коричневой шляпой на голове; он что-то насвистывал и в такт помахивал маленькой палочкой. Его худощавое бледное лицо с козлиной бородкой, громадными карими глазами и блуждающей улыбкой показалось мне знакомым, но где я видел это лицо? когда? В уме так и вертелась какая-то знакомая фамилия, которая сама просилась на язык...

– Да ведь это он... это Епинет Мухоедов! – вскричал я, когда жилец Фатевны с кем-то весело заговорил на дворе.

– Какой там черт приехал? – ворчал Мухоедов, отворяя тяжелую дверь. – Ба-батюшки, светы мой... да какими это судьбами занесло в мою берлогу?!

– Именно судьбами... – проговорил я, и мы не только обнялись, но и перецеловались, как это и прилично старым университетским товарищам, когда-то жившим очень долго на одной квартире, а потом, как это часто случается с русским человеком, совсем потерявшим друг друга из виду.

– Вот эк-ту лучше будет, – говорила Фатевна, останавливаясь в дверях с самоваром и любясь встречей старых товарищей. – Феша, Фешка, подь сюда... Ли-ко, девонька, ли-ко, што у нас сделалось! – звонким голосом кричала старуха; на пороге показалась рябая курносая девка, глупо ухмылявшаяся в нашу сторону. – Фешка, ли-ко, ли-ко!..

– А вы что тут рот-то разинули! – закричал Мухоедов на баб. – Ах вы, вороны, вороны... Водки, Фатевна! Чувствуй: водки!.. Фешинька, голубушка, принеси водочки...

– Что я вам за голубушка... – ворчала долговязая и толстая девица, оставаясь по-прежнему в дверях. – Вот мамынька велит, так и принесу...

– Фатевна, водки, варенья, печенья! – неистовствовал Мухоедов, снова заключая меня в свои объятия.

– Варенья-то еще не наварили про вас, – огрызалась Фатевна, ставя самовар на стол, – в лесу еще растет ваше-то варенье, Епинет Петрович.

Феша прыснула себе в руку и начала делать какие-то особенные знаки по направлению к окнам, в одном из которых торчала голова в платке, прильнув побелевшим концом носа к стеклу; совершенно круглое лицо с детским выражением напряженно старалось рассмотреть меня маленькими серыми глазками, а когда я обернулся, это лицо с смущенной улыбкой спряталось за косяк, откуда виднелся только кончик круглого, как пуговица, носа, все еще белого от сильного давления о стекло.

– Да что это в самом деле, зверинец здесь какой?!. – с азартом накинулся Мухоедов на своих баб; заметив прятавшуюся за косяком голову, он совершенно добродушно прибавил: – А, это наш Пушкин...

Кое-как выпроводив баб из комнаты и усадив меня на диван, он торопливо, точно роняя слова, заговорил:

– Ну, что: доктор? инженер? адвокат?

– Нет.

– Учитель греческого языка? железнодорожник?

– Нет.

– Тьфу!.. Кто же ты, наконец, откройся?

– Служу отечеству...

– Вижу, вижу, по носу вижу, что статистикой приехал заниматься... Ах, провал вас возьми, что это за мода глупая пошла!.. Недавно становой приезжал: подавай статистику! два доктора: статистику...

– Я ни с кого ничего требовать не буду, – объяснял я, – мне нужны только некоторые сведения от причта да позволение порыться в заводском архиве.

– Не верю я в вашу статистику, вот на эстолько не верю. – Мухоедов показал самую маленькую частичку своего мизинца.

– И не верь, тебя никто не заставляет.

Я с любопытством рассматривал Мухоедова, пока он хлопотал около самовара; он очень мало изменился за последние десять лет, как мы не видались, только на высоком суживавшемся кверху лбу собрались тонкие морщины, которых раньше не было, да близорукие глаза щурились и мигали чаще прежнего. Под поддевкой Мухоедова виднелась ситцевая рубашка-косоворотка, мягкие русые волосы были спутаны, и в них белело несколько клочков пуху. Ходил Мухоедов необыкновенно быстро, вечно торопился куда-то, без всякой цели вскакивал с места и садился, часто задумывался о чем-то и совершенно неожиданно улыбался самой безобидной улыбкой – словом, это был тип старого студента, беззаботного, как птица, вечно веселого, любившего побеседовать «с хорошим человеком», выпить при случае, а потом по горло закопаться в университетские записки и просиживать за ними ночи напролет, чтобы с грехом пополам сдать курсовой экзамен; этот тип уже вывелся в русских университетах, уступив место другому, более соответствующему требованиям и условиям нового времени.

– А почему я не верю? – заговорил Мухоедов, складывая на диване ножки калачиком. – Очень просто. Ты вот приехал теперь сведения собирать, положим, о числе браков, рождений, смертей, но ведь количество – это сухая цифра и больше ничего, и ты должен будешь раскрасить ее качеством, вот и пойдет писать губерния. Первым делом ты пойдешь к попу, так и так, позвольте метрики, а поп призовет дьячка Асклипиодота и предварительно настегает его, дескать, не ударь в грязь лицом, а Асклипиодот свое дело тонко знает: у него в метрике такая графа есть, где записываются причины смерти; конечно, эта графа всегда остается белой, а как ты потребуешь метрику, поп подмигнет, Асклипиодот в одну ночь и нарисует в метрике такую картину, что только руками разведешь. Недавно наш доктор жаловался на этого Асклипиодота, что у него один шестимесячный младенец умер от запоя, а Асклипиодот и говорит доктору,

что «вы, ваше благородие, с земства-то получаете в год три с половиной тысячи, а я шестьдесят три рубля с полтиной, так какой вы с меня еще статистики захотели...» По-моему, Асклиподот совершенно прав, потому что дьячки не обязаны отдуваться за губернские статистические комитеты, которые за свои тысячи едва разродятся жиденькой книжонкой, набитой фразами: «По собранным нами сведениям, закон смертности выхватывает свои жертвы в Пеньковском заводе согласно колебаниям годовой температуры и находится в зависимости от изменения суточной амплитуды, климатических, изотермических и изоклинических условий, и т. д.». А в сущности, все это нарисовал Асклиподот, и то под пьяную руку, как бог на душу положит.

– В твоих словах, может быть, и много правды, – отвечал я, – но ведь все, что ты сказал, показывает только то, что необходимо изменить самую систему собирания статистического материала, а земская статистика, то есть желание земства знать текущий счет своим платежным силам, колебания в приросте и убыли населения, экономические условия быта, – самое законное желание. Вот ты бы и помог земству, собирал от нечего делать необходимые материалы.

– Да ну вас к черту вместе и со статистикой вашей! – довольно энергично проговорил Мухоедов, быстро соскакивая со своего дивана. – Вот нам и водку несут...

Действительно, в дверях показалась высокая бледная девушка, с черными волосами и большими серыми глазами; она была одета в розовое ситцевое платье, а не в сарафан, как Фатевна и Феша. Поставив на стол железный поднос, на котором стоял графин с водкой и какая-то закуска, девушка, опустив глаза, неслышными шагами, как тень, вышла из комнаты; Мухоедов послал ей воздушный поцелуй, но девушка не обратила никакого внимания на эту любезность и только хлопнула дверью.

– Еще дочь Фатевны, – проговорил Мухоедов, выпивая рюмку водки. – Только она сегодня не в ударе...

– А что?

– Да мамынька за косы потаскала утром, так вот ей и невесело. Ухо-девка... примется плясать, петь, а то накинёт на себя образ смирения, в монастырь начнет проситься. Ну, пей, статистика, водка, брат, отличная... Помнишь, как в Казани, братику, жили? Ведь отлично было, черт возьми!.. Иногда этак, под вечер осени ненастной, раздумаешься про свое пакостное житышко, ажно тоска заберет, известно – сердце не камень, лишнюю рюмочку и пропустишь.

– А сюда-то ты как попал? – спрашивал я, выпивая рюмку довольно скверной водки.

– Самая, братику, обыкновенная история, которую и рассказывать не стоит, – заговорил, махнув рукой, Мухоедов, – ведь я тогда кончил в Казани кандидатом естественных наук, даже золотую медаль получил вон за того зверя. – Мухоедов показал в сторону оловянной чашки, в которой плавал таракан. – Кончил университет и поступил учителем в некоторое реальное училище, под начало некоторого директора из братьев-поляков; брат-поляк любил поклонь, я не умел кланяться, и кончилось тем, что я должен был оставить службу. А тут попался хороший человек, нахвалил службу в частных заводах, я и поступил сюда, да вот теперь шестой год и служу Кайгородову. И ничего, доволен, только жалованьишко маловато...

– Сколько ты получаешь?

– Тридцать семь рублей с полтиной.

– И говоришь: доволен?

Мухоедов выпил рюмку, пожевал сухую корочку хлеба, круто посыпанную солью, и со своей безобидной улыбкой проговорил:

– И здесь, братику, не без препятствий... Есть здесь некоторый немец-управитель, мы его зовем Слава-богу, потому что он так называет Ивана Богослова... Так вот этот самый Слава-богу и держит меня в черном теле шестой год, на сиротском положении, потому что опять я кланяться не умею, ну, значит, и не могу никак перелезть через этого пархатого немца. Видал, как на палке тянутся, так и мы с немцем: он думает, что «дойму я тебя, будешь мне кланяться», а я говорю: «Врешь, Мухоедов не будет колбасе кланяться...» Раз я стою у заводской конторы,

Слава-богу идет мимо, по дороге, я и кричу ему, чтобы он дошел до меня, а он мне: «Клэб за брюху не будит пошел...» Везде эти проклятые поклоны нужны, вот я и остался здесь, по крайней мере, думаю, нет этого формализма, да и народ здесь славный, привык я, вот и копчу вместе с другими небо-то... Я тебя завтра сведу к Гавриле, нашему механику, вот, батенька, голова так голова, и характер, железный характер. До всего своим умом дошел, по-сибирски это называют самородком, а душа... да вот сам увидишь. Вечером у него будет спевка, кстати, послушаем наших певчих, порядочно поют. Я у Гаврилы живмя живу, свой человек; жена у него умная барынька и тоже золотая душа. – Мухоедов выпил еще рюмку. – Так вот, сравнишь себя с таким самородком и совестно: ведь пробил же себе человек дорогу, единственно своим лбом пробил и без поклонов, а я ведь с кандидатским дипломом сижу у моря и жду погоды... Усилие нужно сделать, говорит какая-то дама в одном романе Диккенса, вот я и проделываю это усилие шестой год. Изживем же мы когда-нибудь нашу колбасу...

– Одну колбасу изживете, вышлют другую.

– Может быть, тогда опять будем отсиживаться, ведь на этом вся наша русская история выстроена, ничем не сморишь.

Против моего ожидания, Фатевна «расступилась», как выразился Мухоедов, и угостила нас пельменями, этим специально сибирским кушаньем; она, впрочем, вознаградила себя за труды тем, что довольно прозрачно напросилась на рюмку водки, которую и выпила с завидным аппетитом.

– В кои-то веки и мы гостя дождались, – говорила Фатевна, утирая губы горстью и показывая свои мелкие гнилые зубы, – а то, сталошное ли дело, живет шестой год жилец, и гостей не бывало ни единого разу, только одни письма да письма, а што в них толку-то? Жалованье-то Епинет Петрович получит, – уже обращаясь ко мне, толковала Фатевна, – сейчас двадцать рублей отсылает, а на семнадцать с полтиной сам и жует месяц-то... А какие это деньги по нонешнему времени?

– Чего ты брешешь на ветер-то, Фатевна? – угрюмо заговорил Мухоедов. – Никаких денег я не посылаю...

– А вот и врешь... Мне писарь волостной сказывал: «Какой у тебя, говорит, жилец обстоятельный, кажинный, говорит, месяц двадцать рублей для своих родителей посылает».

Повернувшись «стопочкой», Фатевна выплыла в двери; Мухоедов после нескольких рюмок водки начал заметно хмелеть, делаясь все тише и тише. Водка на него всегда действовала каким-то успокаивающим образом, и он, когда мы жили вместе в Казани, иногда ни с того ни с сего на сон грядущий выпивал стакан водки и сейчас же засыпал мертвым сном. Пока я рассказывал Мухоедову свою историю, он все время дремал и оживился только тогда, когда речь зашла о нынешней молодежи, по отношению к которой мы были уже «отцами», потому что учились в университете в горячую пору начала шестидесятых годов.

– Знаешь, что я иногда думаю, – говорил Мухоедов, улыбаясь немного печальной улыбкой, – мне кажется, что мы *отстали*, нас обошло другое поколение... Да... Назначили нам с год назад в Пеньковку нового доктора из Петербурга; приезжает, парень еще молодой и женат тоже на докторе, жена и значок золотой имеет: «Женщина-врач». Хорошо. Познакомились как-то – ничего, ребята славные и начитанные, особенно врачаха, по всяким наукам настегалась, так учеными терминами и сыплет. Мы с Гаврилой обрадовались им, как христову дню, и сейчас всю душу принялись выворачивать, исповедались, что вот после многих препятствий и даже неудач сподобились открыть ссудо-сберегательное товарищество и намерены устроить ремесленную школу и всякое прочее. Он, врач-то, все слушает и все поддакивает: «Да, да, говорит, хорошо, очень хорошо, очень хорошо», как малым ребятам, а врачаха-то не вытерпела, вздернула своей мордочкой да как отрежет нам с Гаврилой: «Все это паллиативы...» И он тоже: «Это, говорит, действительно паллиативы», а врачаха и давай нас обстригать с Гаврилой, так отделала, что небу жарко, а в заключение улыбнулась и прибавила: «Большие вы идеалисты,

господа!» Я и рот растворил, а Гаврила мой справился и говорит: «Ничего, мы останемся идеалистами...» Так мы и остались с Гаврилой и совсем разошлись с современным поколением: они сами по себе, а мы сами по себе. Только проходит некоторое время, влетает ко мне Фатевна и начинает меня костерить всяческим манером, главное за то, что я живу у ней шестой год, а расколотого гроша не накопил. Главное, даже в амбицию вломилась, потому могут подумать на нее, что она мои деньги ворует... «Белены объелась баба, – думаю про себя, – что ей за дело до моих денег», а она так и наступает, потом, конечно, и проболталась. Видишь, она пронюхала, что наши врачи где-то купили пять билетов внутреннего с выигрышем займа, вот ей это и показалось обидно, что не успели люди прожить без году неделю, а уж и билетами обзаводятся, а у ней жилец служит шестой год и ни одного билета не купил. Рассердился я тогда на старуху, крепко обругал и даже выгнал, это у нас входит в наш *modus vivendi*<sup>2</sup> и в строку не ставится; а самому так-то горько-горько сделалось, вот, мол, где не паллиативы-то, раздуй вас горой... Грешный человек, не люблю про ближнего худое слово говорить, а тут не стерпел... Процентные бумаги!.. Тьфу! К чему было и огород городить, коли на то пошло...

В комнате было страшно накурено, дым волнами стоял до самого потолка; от выпитого вина и пропитанного табачным дымом воздуха голова у меня начинала кружиться, а Мухоедов с побледневшим лицом по-прежнему сидел на диване, то принимаясь что-нибудь рассказывать с лихорадочной поспешностью, то опять смолкал и совершенно неподвижно смотрел куда-нибудь в одну точку. Сальный огарок в позеленевшем, давно не чищенном подсвечнике освещал комнату тусклым красноватым светом; я растворил окно на пруд, и мы сели к нему, я на стул, Мухоедов на подоконнике. Майская чудная ночь смотрела в окно своим мягким душистым сумраком и тысячью тысяч своих звезд отражалась в расстилавшейся перед нашими глазами, точно застывшей поверхности небольшого заводского пруда; где-то далеко-далеко лаяла собака, обрывками доносилась далекая песня, слышался глухой гул со стороны заводской фабрики, точно там шевелилось какое-то скованное по рукам и ногам чудовище, – все эти неясные отрывистые звуки чутко отзывались в дремлющем воздухе и ползли в нашу комнату вместе с холодной струей ночного воздуха, веявшего на нас со стороны пруда. В дальнем конце пруда чуть виднелась темная линия далекого леса, зубчатой стеной встававшего из белого тумана, который волнами ползал около берегов; полный месяц стоял посредине неба и озарял всю картину серебристым светом, ложившимся по воде длинными блестящими полосами. Несколько доменных печей, которые стояли у самой плотины, время от времени выбрасывали длинные языки красного пламени и целые снопы ярких искр, рассыпавшихся кругом золотым дождем; несколько черных высоких труб выпускали густые клубы черного дыма, тихо подымавшегося кверху, точно это курились какие-то гигантские сигары. Мы с Мухоедовым долго и совершенно безмолвно любовались этой оригинальной картиной, в которой свет и тени создавали причудливые образы и нагоняли в душу целый рой полузабытых воспоминаний, знакомых лиц, давно пережитых желаний и юношеских грез; Мухоедов сидел с опущенной головой, длинные волосы падали ему на лоб, папироса давно потухла, но он точно боялся пошевелиться, чтобы не нарушить обаяния весенней ночи.

– А ведь врачиха-то, пожалуй, правду сказала, что мы идеалисты, – заговорил, наконец, Мухоедов, не поднимая головы, – идеалисты мы и есть, никаких у нас хватательных и приобретательных инстинктов не оказалось на роскошном пиру действительности... Помнишь, как мы увлекались тогда естественными науками, женским вопросом, просвещением народа с высоты нашего тогдашнего величия? Помнишь, как мы читали Белинского, Добролюбова, как встречали освобождение от крепостной зависимости и чего ждали от новых судов и земских учреждений... Вот теперь все это пришло, и мы оказались за штатом... Эта врачиха-то что проповедует: не нам, говорит, учить народ, а нам учиться у него... Как это тебе нравится? А мы-то

<sup>2</sup> Образ жизни (лат.).

мечтали просветить это темное царство, а теперь оказывается, что нам приходится искать просвещения в этом царстве... Tempora mutantur...<sup>3</sup> Теперь, братику, и сам Базаров мальчишкой оказывается. Помнишь, как он выразился про Николая Петровича Кирсанова<sup>4</sup>, что его песенка спета, теперь про нас то же говорят... Эх, давай выпьем горилки, сердцу легче станет!

Мы выпили, Мухоедов продолжал в каком-то раздумье:

– А ведь, знаешь, что я иногда думаю: ведь все это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон... По крайней мере, оглянешься кругом, ни одной живой души не видишь: все преклонилось пред золотым тельцом... А что эти крикуны, которые тогда в аудиториях да в кружках со слезами на глазах святые истины проповедовали, все теперь черту служат, большие оклады получают и в чины лезут. Я и газеты поэтому давно не читаю, чтобы не видеть этой гадости, а все-таки вспомнишь про университет, про свое студенчество – так сердце кровью и обольется... Э-эх, золотое было времечко... А нет-нет, точно палкой по голове и ударит... Недавно приезжал сюда следователь, может, помнишь, на курсе у нас хохол был, Цыбуля по фамилии: свинья-свиньей, тошно смотреть, и еще, подлец, жалуется, что среда заела, а сам получает даром две тысячи в год да все время пьет горькую чашу... Двух докторов тоже встретил как-то, те уж прямые мошенники, только о процентных бумагах и думают; об юристах и говорить нечего, как сыр в масле катаются... Был я раз в городе, так один из них чуть меня рысаком не задавил... Может, помнишь Ваньку Белоносова, вот он самый и есть, тоже на среду жалуется и прожигает жизнь... Ну, да всех этих подлецов не перечтешь...

Мы проговорили до самого утра и улеглись спать только тогда, когда солнце начало подниматься из-за горизонта багровым шаром; пьяный Мухоедов скоро заснул на диване, а я долго ворочался на его жесткой постели.

Странный был человек Епинет Мухоедов, студент Казанского университета, с которым я в одной комнате прожил несколько лет и за всем тем не знал его хорошенько; всегда беспечный, одинаково беззаботный и вечно веселый, он был из числа тех студентов, которых сразу не заметишь в аудитории и которые ничего общего не имеют с студентами-генералами, шумящими на сходках и руководящими каждым выдающимся движением студенческой жизни. Мухоедов принимал живое участие в этих движениях, но больше своим присутствием, а не словом; он изображал из себя «народ», как говорят о статистах на театральной сцене, предоставляя роль вожаков более красноречивым и более умным, как он думал в простоте своего доброго сердца. Жили мы с Мухоедовым где-то в самом глухом переулке, занимая пятирублевую комнатку, через день обедая и переживая с лихорадочным жаром то счастливое настроение, которое безраздельно овладело всей тогдашней молодежью; мы не замечали той вопиющей бедности, которая окружала нас, и жили отлично, как можно жить только в двадцать лет. В это горячее время было пережито, может быть, слишком много счастливых молодым счастьем часов; воспоминанием об этом времени остались такие люди, как Мухоедов, этот идеалист с ног до головы, с каким-то особенным тайничком в глубине души, где у него жило то нечто, что делало его вечно довольным и беззаботным. Мне особенно было интересно проследить, что произошло с его тайничком за последние десять лет, в которые русское общество пережило, передумало и перечувствовало так много, а он, Мухоедов, с головой окунулся в глубину житейского моря.

Из разговоров с Мухоедовым я убедился в том, что он остался вечным студентом и ревниво охранял свой заветный тайничок, хотя беспредельная вера в содержимое этого тайничка подвергалась сильным искушениям и даже требовала поддержки какого-то Гаврилы, пред которым Мухоедов преклонялся со свойственным ему самоотвержением, как он раньше преклонялся пред Базаровым. Мухоедов, кажется, сильно отстал от века, может быть, забросил свою любимую науку, не читал новых книжек и все глубже и глубже уходил в свою скорлупу, но

---

<sup>3</sup> Времена меняются... (лат.)

<sup>4</sup> Базаров и Николай Петрович Кирсанов – персонажи из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети».

никакие силы не в состоянии были сдвинуть его с заветной точки, тут он оказал страшный отпор и остался Мухоедовым, который плюнул на все, что его смущало; мне жаль было разбивать его старые надежды и розовые упования, которыми он еще продолжал жить в Пеньковке, но которые за пределами этой Пеньковки заменены были уже более новыми идеями, стремлениями и упованиями. В лице Гаврилы явился тот «хороший человек», с которым Мухоедов отводил душу в минуту жизни трудную, на столе стоял микроскоп, с которым он работал, грудой были навалены немецкие руководства, которые Мухоедов выписывал на последние гроши, и вот в этой обстановке Мухоедов день за днем отсиживается от какого-то Слава-богу и даже не мечтает изменять своей обстановки, потому что пред его воображением сейчас же проносится неизбежная тень директора реального училища, Ваньки Белоносова, катающегося на рысаках, этих врачей, сбивающих круглые капиталы, и той суеты-сует, от которой Мухоедов отказался, предпочитая оставаться неисправимым идеалистом. Жизнь его обогнала, выдвинув новые идеалы, и он продолжал с каким-то Гаврилой переживать старое, что было вынесено еще с университетской скамейки.

## II

На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех; когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбающиеся лица дочерей Фатевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню.

– Что вы тут ржете, кобылы! – слышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись.

Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера «не в ударе»; улыбнувшись, она нерешительно проговорила:

– Вам, может быть, самоварчик понадобится?

– Да, если можно...

Глаша – так звали эту юнейшую отрасль Фатевны – скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар; это была высокая стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз. Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня исподлобья; выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила:

– А вы вместе учились с Епинетом Петровичем?

– Да, вместе...

– Глашка, Глашка... уже тебя мамынька-то! – слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост.

Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты; старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтеньем бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену: Фатевна, оперев руки в бока, фертном ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространство и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол; в это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет сорока пяти, с такой маленькой головкой, точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк.

– Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна, – заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. – Недаром говорят, что бабье сердце, все равно что худой горшок...

– Ах, ты... – завопила Фатевна, становясь в боевую позицию и упирая руки в бока. – Не тебе бы говорить, не мне бы тебя слушать, живая боль...

– А ты – сухая мозоль, – храбро ответила женщина с маленьким лицом. – Я тебе правду говорю... вон и барин сидит: ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыдилась чужих-то людей... Ведь приезжий барин все видит, все...

Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на приступочке у входных дверей и отсюда отстреливался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамыши. Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц:

– Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят... Это не прилично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила... Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него!

Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля; через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на целую улицу:

– Сирота я горемышная... Нету у меня ни роду, ни племени, родного батюшки-заступничка... Некому заступить за меня, сироту горемышную!

Это причитанье вызвало громкий смех девушек и отчаянную ругань Фатевны; я отошел к окну, выходящему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводский пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо побряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы; а там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд.

Было часов десять утра; легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала, и в воде снова целиком отражалось высокое, бледно-голубое небо с разбросанными по нему грядами перистых облачков; в глубине пруда виднелась зеленая стена леса, несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире три барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз всем туловищем; у почерневшей деревянной будки сидел седой старик; несколько мальчишек удил рыбу с плотины; какая-то старушка-дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой середине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними двумя расходившимися полосами.

– Ты уж встал, – говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол.

– Да, встал.

– И чаю напился?

– Да.

– Ну, и отлично... А я нарочно тебя предупредить пришел: ты теперь в завод не ходи, там Слава-богу шатается, еще, пожалуй, придерется, а ты ступай теперь к попу Егору, он тебе все метрики покажет; пока ты пробудешь у попа, Слава-богу уйдет из заводу кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу и в архив сведу. Понял?

Заметив тихо хныкавшего на своем приступочке Пушкина, Мухоедов проговорил:

– Сражение было?

– Да.

– Ну, сие тоже входит в наш *modus vivendi* и служит нам для очищения застоявшихся кровей... Эй, Галактионовна! – закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор, – перестань выть; хочешь водки?

– У вас незнакомый мущина... – застенчиво отозвалась Галактионовна, – я ведь не пойду в комнату постороннего мущины, как бесстыжая Глашка...

– А, теперь понимаю, – улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов, – наша Глафира сегодня в ударе... А у меня со вчерашних разговоров сегодня главизна зело трещит.

Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по улице, к небольшому двухэтажному дому, где жил о. Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком; мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына.

– Я тебе говорю, друг мой, – мягко объяснял батюшка, – что я не могу, никак не могу... Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить и другим, понял?

– Андроник дешевле венчает, – говорил «друг мой», почесывая затылок.

– Ты, друг мой, и ступай к отцу Андронику; я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает, а я не могу... Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующей...

– Отец Егор, развяжи ты мне руки, ради Христа! – взмолился мужик. – Ведь страда наступает, до смерти сына надо женить; ведь время-то теперь какое... а?

– Не могу, друг мой...

Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими иззелена-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку:

– С кем имею честь говорить?

Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения.

– А, очень рад, очень рад, – торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. – Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен... Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйста.

Батюшка пошел вперед меня; это был еще совсем юноша, лет двадцати двух, с бледным лицом, и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что о. Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера; мягкий певучий голос и плавные движения делали это сходство поразительно близким, только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкой мебелью; у окна стоял хорошенький письменный столик, заваленный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий ковер на полу, – все было мило, прилично и совсем не по-поповски, за исключением неизбежных премий из «Нивы», которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам.

Батюшка позвонил в колокольчик; явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях; батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко:

– Пусть он придет сюда.

Мы остались вдвоем; батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оставить эти занятия.

– Ведь вы войдите в положение русского священника, – говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. – Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас... Поставьте себя на мое место... Да, очень грустное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливые нарекания. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности... Но ведь, помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дразгами нашего быта.

– Homo sum, nihil humanum mihi alienum est,<sup>5</sup> – с улыбкой прибавил батюшка. – Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе; подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные

---

<sup>5</sup> Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

члены общества, – вот вам и целый *circulus vitiosus*,<sup>6</sup> из которого не можешь никак вырваться и который с каждым годом затягивает все сильнее и сильнее.

Эта мерная, как журчащий ручеек, речь о. Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный порыжевший драповый подрясник цвета *Bismark-furioso*; я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклипиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклипиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полки своего подрясника; яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же *Bismark-furioso*, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы – все это, вместе взятое с протяженно-сложенностью Асклипиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление, особенно рядом с чистенькой и опрятной фигуркой о. Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле.

– Вы, отец Георгий, присылали за мной служанку... – нерешительно заговорил Асклипиодот приятным баритоном.

– Да, Асклипиодот, ты к завтрашнему дню приготовишь метрики и передашь их вот им, – проговорил о. Егор, показывая движением глаз на меня.

– А я, отец Георгий, думал... мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел... уволиться у вас.

– Ах, какой ты странный, Асклипиодот, – с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. – Если я тебя прошу... Неужели ты не понимаешь?

Асклипиодот сильно засопел носом и смолк; только пальцы руки, придерживавшей полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклипиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «вот тебе, о. Андроник, набродили мы с тобой рыбки...»

Поблагодарив батюшку за его любезную готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет; в передней опрятная «служанка» не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклипиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками.

– А мы с Андроником собрались было рыбу бродить... – говорил Асклипиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки.

– Мне не нужно метрик сейчас, – объяснял я Асклипиодоту, – вы можете отправляться, куда угодно, а я подожду.

– А вы слышали, что он сказал? Да-с... Когда он скажет: «если я вас прошу», значит – кончено, вынь да положь, а то оштрафует или на поклоны поставит в алтаре... Он у нас мягко стелет, да жестко спать.

– Право, я не знаю, как быть с этим делом... Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы.

– Устроимте маленькую сделочку... у меня искра блеснула, – проговорил Асклипиодот. – Он вас непременно спросит после, когда вы получили от меня метрику, а вы и скажете, что сегодня.

– С удовольствием.

– Покорно вас благодарю... – проговорил Асклипиодот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее.

---

<sup>6</sup> Порочный круг (лат.).

Асклиподот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об о. Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу; о. Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих палестинах. Это отсутствие любопытства в о. Егоре впоследствии совершенно объяснилось: батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе, и, как оказалось, его «служанка» ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к Фатевне и по пути заполучила все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухоедову; «искра», блеснувшая в голове Асклиподота, и его благодарственный поцелуй моей руки были только аксессуарами, вытеньявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus<sup>7</sup> нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спустился по улице под гору и очутился пред самой фабрикой, в недра которой меня не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок-караульщик; пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других – зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины: в одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика, направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади, там и сям, виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубашках, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня; они как-то особенно мягко ступали в своих «прядениках»<sup>8</sup>; у входа в катальную, на низенькой деревянной скамейке, сидела кучка рабочих, вероятно, только что кончивших свою смену: раскрытые ворота рубашек, покрытые потом и раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки – все говорило, что они сейчас только вышли из «огненной работы».

Вдали, в горах беспорядочно наваленных дров, мелькала пестрая, покрытая сажей толпа «дровосушек» и поденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем недвусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы, и громкий девичий смех, как-то мало гармонизировавший с окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухоедова в глубине рельсовой катальной; он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку; молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руке целый пук зажженной лучины; я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса, около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными клюками; где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол.

– Сейчас будут прокатывать рельс, – предупредил меня Мухоедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры.

Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался; это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких

<sup>7</sup> Нового человека (лат.).

<sup>8</sup> Пряденики – пеньковская обувь.

отдельных, «сваренных» между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом; другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода, и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернуть валы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдребезги. Двое рабочих в кожаных передниках, с тяжелыми железными клещами в руках, встали на противоположных концах катальной машины, тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник, точно сам собой, нырнул в ближайшее, самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью; рабочие ловко подхватывали эту красную, все удлиняющуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила двенадцать пудов и что в десяти шагах от нее сильно жгло и палило лицо.

– Ну что, видел огненную работу? – спрашивал меня Мухоедов, когда совсем готовый двенадцатипудовый рельс был брошен с машины на пол. – Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло.

Мы прошли в то отделение, где с страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски «маховик»; вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер.

Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой; молодой человек, машинист, одетый в замазанную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика; около окна стоял плотный, приземистый старик с «правилком» в руке.

– Это наш плотинный, Авдей Михайлыч, – шепнул мне Мухоедов.

Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения; мы полюбовались вертевшимся в полторы тысячи пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской; обыкновенная войлочная шляпа, какую носили все рабочие, пестрядевая рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные перчатки дополняли костюм Авдея Михайлыча; судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике.

– Вот этот молодец вместе с Слава-богу, – говорил Мухоедов, показывая на удалявшегося Авдея Михайлыча, – совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика... Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали, один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике, только клочья мяса остались; конечно, сейчас следовательно явился, притянули на суд Слава-богу и Авдея Михайлыча, а они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист-то из-за них на поселенье, а им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство... Эксперты – свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел.

В катальной листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная крица весила всего несколько фунтов; в печах мартена, в небольшое отверстие, я долго любовался

расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа.

Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик, в лохмотьях и без шапки; он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детской улыбкой забормотал:

– Здорово, Иваныч... Иваныч, здорово... убили... сорок восемь серебром убили... Да. Я приказал попу... я велел молебн, Иваныч...

– Это Яша-дурачок, – объяснил Мухоедов, – помешался на том, что он управитель завода.

– Иваныч... часы... купи часы... – бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек.

– Покажи, Яша.

– Часы, Иваныч... и ночью ходят, Иваныч...

Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак; спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу:

– Убили... сорок восемь серебром... Иваныч, убили!

– Яша всех зовет Иванычами, – объяснял Мухоедов.

После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли, точно ключья серебряной пены, легкие перистые облачка; фабрика казалась входом в подземное царство, где совершается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на «огненное дело», как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал бог первому человеку и как это происходило именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сторает самый богатый запас рабочей силы.

– А вон *Ястребок* наш прогуливается, – говорил Мухоедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. – Это наш надзиратель, Павел Григорьич Рукавицын; я у него под началом состою... Ужаснейшая bestия, берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным, а если кто не приходит с поклоном – и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич, тоже немаловажная птица в нашей иерархии; уставщик да плотинный – это два сапога – пара, теплые ребята и ловко обдeldывают свои делишки, а Ястребок видит – не видит, потому рука руку моет.

Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтанье у него было темно-зеленого цвета да шляпа немного пониже; он держал в руках такое же «правило» и ходил таким же медленным тяжелым шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и с своей стороны постарается и т. д. Я, конечно, поблагодарил его; эта мирная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.